

О Каштанке и каштанках

Игорь Веслер

*"При закате солнца наша тюрьма
необыкновенно прекрасна!"*

Л. Андреев

Трогательная и драматическая история этой собаки, к сожалению, ещё никем не рассмотрена как уникальный феномен l'âme slave, вряд ли воспринимаемый и понимаемый до конца отечественным – и тем более западным – читателем. Такова уж судьба чеховского рассказа, давно помещённого по изволению комиссаров от литературы в прочно огороженный загончик «рассказов о животных для младшего школьного возраста» и крыловских басенных аллегорий, где он остаётся и по сей день.

Да и откуда «младшему школьному возрасту» подсоветских времён было знать, что «Каштанка» - это уцелевший обломок целого жанра, исчезнувшего с отменой теми же комиссарами Рождества, - жанра рождественского или святочного рассказа, непременно в преддверии сочельника. Традиционные элементы такой умильной истории – чудо победы добра над обстоятельствами, избавление от невзгод, а то и смерти, доброй волей прохожего. Но в ряду бесчисленных рождественских сентименталий «Каштанка» стоит особняком, и вот почему.

Закончись чеховская повесть цирковым выступлением Каштанки – и была бы она не хуже и не лучше любого диккенсовского рассказа, в полном согласии с канонем. Налицо героиня, оказавшаяся в драматических обстоятельствах, есть и её избавитель, причём западного толка, - не даритель, а наставник. Катарсис наступает вполне назидательно – терпенье и труд всё перетёрли, триумф Тётки-Каштанки на арене становится заслуженной наградой за ученье и даже органическое неприятие ею музыки превращается в преодолённую тяготу ремесла. И в этот момент происходит сюжетный поворот, не просто ломающий канон, а выворачивающий его наизнанку.

Именно этот поворот и стал залогом идеологической чистоты чеховского рассказа в глазах сталинских держиморд, допустивших его в святая святых – в младший школьный возраст. Более того, «Каштанка» как верный Руслан была призвана на идеологическую службу именно благодаря метафорической оппозиции «хорошего» и «своего» как оправдания и воспитания безоглядного, бездумного, нутряного патриотизма.

* * *

Идеологические надзиратели советской эпохи с охотой поставили себе на службу естественную привязанность к земле, родному языку, культурным традициям, семейным корням, т.е. всему тому, что формирует душу человеческую. Но безусловной новацией стало то, что ко всему этому были исподволь пристёгнуты идеологические «ценности», и в дальнейшем комиссары никогда не стеснялись спекулировать «милыми берёзками» и «картинкой в твоём букваре», искушая и соблазняя нестойких и запутавшихся того века, который Игорь Померанцев в своих «Поверх барьеров» назвал «веком беженцев, перемещённых лиц, угнанных, изгнанных, эвакуированных, эмигрантов, невозвращенцев, возвращенцев...»

Последние два термина необычны своим происхождением. «Невозвращенец» – шедевр словотворчества Лубянки и Старой площади – стал широко употребительным в 60-70-х годах, а «возвращенец» - значительно старше: он появился в русскоязычной эмигрантской прессе Франции 20-х – 30-х годов прошлого века, был скроен по тогдашнему советскому образцу и немедленно ассоциировался со своими шипящими собратями той лихой поры: лишенцы, отщепенцы, перерожденцы...

Невозвращенцы – относительно небольшой (в сравнении с легальной эмиграцией) отряд романтических и часто героических судеб, занявший достойное и прочное место не только в истории, но и в русском языке. Невозвращенцем был Николай Курбский, бежавший от несправедного гнева, невозвращенцы – это совершивший легендарный «прыжок к свободе» Рудольф Нуриев, это Михаил Барышников, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, это

Виктор Корчной и сотни других, менее известных, решившихся на прорыв «железного занавеса».

Но были и другие – вырвавшиеся на Запад и затем вернувшиеся. Некоторых сломили тяготы эмиграции, некоторых – гуманисты в штатском, взявшие в заложники оставшихся родственников, иные просто не смогли существовать без родных пельменей и походов за грибами, кто просто поддался на лесть и посулы чекистов, а кто и погнался за миражами. Всякое бывает, и душа человекья – потёмки. Хотя и мало кому известный, этот отряд также обрёл своё название: «возвращенцы».

* * *

Известно, что с конца XIX века и до 1917 года Россию покинуло от 2,5 до 4,5 млн. человек. Причины этого были разнообразны, но за редкими исключениями – преимущественно экономические. Политическими они стали лишь после Октябрьской революции. Именно тогда, не успев толком заняться последствиями бедствий гражданской войны, голода и разрухи, советское правительство направило недюжинные усилия и немалые средства на борьбу с «идеологическими врагами» - теми, кто бежал из советского ада тех лет. С наиболее стойкими из них новоиспеченные советские рыцари плаща и кинжала предпочитали расправляться поодиночке, но постепенная консолидация российской эмиграции настоятельно требовала массовых решений, таких как создание «пятой колонны» - просоветских движений и организаций (сменовеховцы, евразийцы), печатных изданий и т.п. и инфильтрация в них агентов влияния. Одним из направлений этой деятельности стала пропаганда «возвращения на Родину».

С первых же лет возвращенство¹ стало идеологическим оружием двойного назначения. С одной стороны, факты возвращения в Советскую Россию известных и уважаемых лиц были призваны показать оставшимся пример гуманности и терпимости власти большевиков и побудить эмиграцию к массовой репатриации. С другой стороны, возвращенцы выполняли еще одну миссию (о которой сами не догадывались, а если бы догадались - ужаснулись) - легитимизировать власть большевиков даже в глазах тех, кто ненавидел их и проливал кровь в борьбе с ними (и уж тем более – в глазах колеблющихся, измученных, неприспособившихся) и тем самым внести идейный раскол в эмиграцию.

Систематический исторический взгляд на возвращенство – дело нескорого будущего. Но даже простое перечисление имён скажет о значимости этого явления. В ряду возвращенцев оказались такие несхожие личности как Марина Цветаева и Алексей Толстой, митрополит Вениамин (б. Американский) и видный эсер В. Сухомлин, художник Василий Шухаев и казачий генерал И. Л. Николаев, композитор Сергей Прокофьев и генерал Слащев-Крымский, певец А. Н. Вертинский и режиссёр Юрий Любимов, художник К. Н. Редько и писатель А. Куприн, десятки и сотни тысяч менее известных, но равно поддавшихся обману и самообману.

Характерный пример той поры – судьба одного из основателей и идеологов сменовеховского движения проф. Николая Васильевича Устрялова, покинувшего Россию в 1920 г. Профессор Харбинского университета, он вернулся в СССР в 1935 г. и был с железной сталинской логикой расстрелян в 1937 г.² Эту же судьбу разделили с ним многие сменовеховцы-возвращенцы, не говоря уже о простых россиянах или даже их потомках, сменивших после революции полуголодное существование в европейских странах на неизбежную советскую лагерную пайку. История знает и иные примеры массового возвращенства, оставшиеся – за редкими исключениями – малоизвестными или почти безвестными. Таковы судьбы "кавежединцев", завлечённых в сталинскую западную бесстыдную ложь и посулами. Таковы судьбы тысяч русских солдат-военнопленных, оказавшихся после капитуляции Германии в Европе и поддавшихся лживо-сентиментальному призыву «Сынку! Родина-мать ждёт!», которым со-

¹ Этот термин ввёл Алексей Васильевич Пешехонов (1867-1933), один из основателей и лидеров партии народных социалистов, видный экономист-аграрник, публицист, бывший министр продовольствия Временного правительства.

² В 1937 г. он, профессор Московского института инженеров транспорта, откликнулся на принятие сталинской конституции статьей в "Правде" под названием "Рефлекс права", после чего, естественно, был арестован, оперативно судим и расстрелян на третий день судебного процесса.

ветские вербовщики дармовой рабской силы наводнили послевоенную Европу.³ Заплатили они за эту слабость, как известно, очень дорого.

Пример новейшего времени (скорее драматический, нежели трагический) – возвращение в Россию философа Александра Александровича Зиновьева, который был лишён советского гражданства за книгу «Зияющие высоты» и прожил более 20 лет в Германии. Ещё один пример, хоть и иного свойства, – Артём Тарасов, один из первых легальных миллионов горбачёвского разлива.

За последние два десятилетия слово «невозвращенец» безвозвратно отошло из живого языка в словари. Но одновременно появились «возвращенцы нового поколения», пёстрое и неоднозначное племя, ещё ждущее своего исследователя – социолога, психолога, экономиста, историка. В отличие от возвращенцев 20-х - 80-х годов прошлого века, их переезд в Россию с Запада в 90-х годах прошлого и в начале этого века является, как правило, собственным и осознанным волеизъявлением, будь то «поиски корней» молодого поколения или «старость в знакомых стенах» неисправимых идеалистов, не говоря уже о бизнесменах русскоязычного происхождения. И если молодая поросль ещё находит в России отдохновение от американских крысиных гонок или лихие заработки, не требующие особого образования или происхождения, то прочие оказываются в «страдательном залоге» - подлинному возвращенцу в России всегда хуже, за ним всегда тянется невидимый шлейф злорадства, неприязни обывателя и особого, нехорошего, корыстного интереса как власть имущих, так и криминального мира.

И больше всего рикошетит нынешняя жизнь в постсоветском пространстве по «нутряным» возвращенцам, возвращенцам-идеалистам, возвращенцам к воспоминаниям, к «корням», к привычному и знакомому с детства.

Каштанка – классический «нутряной» возвращенец.

В литературе есть чудесные примеры собак-эмигрантов (взять хотя бы «Дневник Фокса Микки» Саши Черного или дворняжку Мистера Боунса из «Тимбукту» Пола Остера). Но Фокс Микки вполне доволен жизнью, эмиграцию переживает скорее как нечто внешнее, как перемену декораций, а не обстоятельств, и уж тем более не задумывается о возвращении.

* * *

Чеховская повесть видится мне историей эмиграции и возвращения. И прежде всего об этом красноречиво говорят названия глав повести.

«Дурное поведение» - внешне невинный проступок, за который Каштанка наказана лишением привычного быта, причём зло здесь даже не персонифицировано, да и выпадает Каштанка из этого быта вовсе не по своей охоте. Чехов конструирует клинически чистый случай, когда вполне благонамеренный винтик социального организма, не мыслящий иного бытия, вдруг в силу простого стечения обстоятельств оказывается выброшенным за пределы своего обыденного мирка в новую жизнь. И винтик воспринимает это как подлинную трагедию, крушение всего и вся, принимая чистилище за пункт назначения.

«Таинственный незнакомец» - первое столкновение с новым миром. Первые впечатления – всё необычно, загадочно, язык другой, внешность окружающих, манеры...

«Новое, очень приятное знакомство» - первые уроки общежития в новом окружении. Надо уважать чужую территорию, уважать «прайвеси», в общем, как сказал хозяин, «надо жить мирно и дружно». Каштанка получает новое имя и обнаруживает, что окружающие не так уж опасны и лаять на них просто нет необходимости. Да что там!!! Даже беспардонное посягательство на еду другого не оборачивается неприятностями – скорее напротив: «Гусь несколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.»

«Чудеса в решете» - всё дальше отступают прежние страхи. Находится совместное занятие, и довольно увлекательное. Вот уж воистину чудеса в решете – учат, да за это ещё и кормят... К тому же окончательно исчезают страх и вызванная им агрессия – «Каштанка

³ См. повесть В. Аксёнова "Ожог".

сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно», уж больно они добродушны. Жизнь обретает смысл и интерес – «Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно».

«Талант! Талант!» - проходит месяц, что по человеческим масштабам более полугода. Каштанка успешно учится и овладевает наукой общежития.

Глава «Беспокойная ночь» - первая жанровая необычность. В благостный рождественский сюжет врывается смерть.

И, наконец, «Неудачный дебют» - финал с совершенно нерождественской развязкой. Вот тут-то и происходит то, что превращает чеховскую повесть из заурядного рождественского повествования в ещё одно свидетельство проявления «загадочной русской души»...

* * *

История эмиграции и возвращения Каштанки начинается точными и узнаваемыми приметам простого подсоветского человека. Происхождения невесть какого, беспамятного, как есть дворняжка, хоть и с некоей – скорее смехотворной – примесью таксы. (Остроумие Чехова перешло в поговорку – тавтология «помесь таксы с дворняжкой» стала означать в высшей степени нелепое сочетание. Ведь «дворняжка» сама по себе уже есть помесь.) Жила-поживала до боли знакомо – на стружках под верстаком вечно пьяного хозяина-мастерового, радуясь без памяти таким простым вещам как прогулка. Обращение – примерное (трёпка за ухо со словами «чтоб ты издохла, холера», а в лучшем случае – «насекомое существо и больше ничего»). Неотъемлемое право хозяина бить её – краеугольный камень простенькой картины мира, в котором «Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.». Кормёжкой домашней собаки хозяин, как видим, себя особо не обременял; в описываемый день «ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу». Мизерабль, одним словом.

И вот, волею судеб (именно так – нежданно-негаданно, помимо собственных воли и сознания, даром, – и случается всё в рождественских рассказах), в жизни Каштанки происходят чудесные перемены.

Происходят они очень по-русски: один неверный шаг – и ты вычеркнут из прошлой жизни. Припомним: «Каштанка ... не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился...» Причина пустяшная, на первый взгляд, - ну, не любит собака громкой военной музыки, разнервничалась, что же тут такого? Разве она виновата, что у собак очень тонкий и чувствительный слух? А вот поди ж ты...

Как это знакомо («от сумы да от тюрьмы...») – ведь даже в самые вегетарианские времена жизнь вполне благополучных советских каштанок могла прерваться из-за дурного настроения участкового, неуместного острого словца, даже не вовремя поданного заявления... Как знакомо и не похоже на бытие западного человека, ограждённого от последствий роковых случайностей частокором законов, страховок, банковских счетов, адвокатов и т.п.

Околевая в снегу под чужим подъездом, она подобрана незнакомцем, человеком добрым, чувствительным до сентиментальности, щедрым и на удивление понимающим (что и не мудрено – его дом полон животных, к которым он относится как к братьям по цеху, с совершенно человеческими чувствами). Мало того, что с первых же минут к ней относятся неслыханно деликатно и как к равной («Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.»), так ещё и кормят невиданными яствами. Наевшись же, Каштанка впадает в настроение философское и начинает сопоставлять: где лучше – у незнакомца или у столяра? И приходит к неизбежному выводу: «у незнакомца есть одно очень важное преимущество - он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: "По-ошла вон, треклятая!"».

Начинается иная жизнь; но первая эмигрантская ночь Каштанки на новом месте наполнена снами-воспоминаниями, которые милыми и родными назвать язык не поворачивается. Уж такова эта загадочная русская душа...

* * *

Сны Каштанки – неслучайная и значимая деталь повествования. В небольшой повести упоминаются пять собачьих снов, причём первые четыре – это действительные сны, пятый же, буквально завершающий повесть словом «сон», – метафорический.

В первом сне Каштанка ярко переживает прошлую жизнь – и, заметим, в каких привычных людоедски-лицемерных именовании. Казалось бы, сентиментальные воспоминания о детских играх («Федюшка обыкновенно играл с нею...») – что же это были за «игры»?

«Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделял с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак...»⁴

«... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка.»

Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что здесь с патологической точностью и неожиданной прозорливостью описано всё то, что творило бессмысленное и беспощадное подсоветское бытие, данное в ощущениях, по уверению классика? У какой каштанки, вытасченной затемно в беспросветную стынь промозглого утра, не зеленело в глазах и не болело во всех суставах после утренней коммунальной толчеи и безжалостного целодневного армейского, заводского, учрежденческого или тюремного абсурда? Кого не заставляли ходить на задних лапах, понуждая к неестественным и противоестественным фигурам кадрили с властью предержащими? И скольким пришлось горько уразуметь, что даже твой кровный, тяжело заработанный, выстраданный кусок – **не твой**, даже когда ты уже готов праздновать маленькую победу выживания. (И зеркальным отражением этой желудочной аллюзии – принудительное кормление решившихся на голодный протест...)

«И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.»

Трудно поверить, что скулила она от тоски по этим играм. Скорее всего, она переживала их вновь и вновь, ужасаясь тому, что каждодневный кошмар не оставляет её и во сне, и ещё не веря, что избавлена от него. Это ощущение хорошо знакомо многим, и по природе своей сродни фантомным болям – подсознание изживает привычные ощущения, заменяя их новыми. Как признавался мой добрый знакомый, первые месяцы после морозной Москвы 1976 года и строя «янычар в зелёном» ему – сначала почти каждую ночь, потом всё реже и реже – снилось, что у трапа самолёта к нему подходят двое в штатском и говорят: «Мы всё-таки сочли ваш выезд нецелесообразным.» (И по сей день его слегка передёргивает, когда он об этом вспоминает...)

Сон второй – тоже типично эмигрантский:

«Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фи-

⁴ Эта жестокая забава – давать нюхать табак собаке, существу с обострённо чувствительным нюхом, – упоминается в ещё одном рассказе Чехова «Ванька», где дедушка Константин Макарыч из озорства даёт понюхать табак собакам, причём одноимённая Каштанка «чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону».

гуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила.... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком.»

Позади остались первые, самые острые переживания расставания с прежней жизнью и встречи с новой. Душа вытеснила страшное, тяжкое, кошмарное, пережила его – и возвращается к сладким и сокровенным воспоминаниям прошлого, которые под давлением повседневности становятся всё более расплывчатыми – забываются события, обстоятельства, имена, и лишь запахи, цвет, звуки держатся дольше всего. А дольше всего – ощущения страха. Именно таков третий сон.

Он описан коротко и характерно («Тётке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.») – он просто «собачий», т.е. ничего вроде бы не знаменует, но всё-таки она просыпается от страха, не до конца изжитого и отзвучивающегося на малейшее предчувствие поворота судьбы.

Четвёртый сон – это продолжение и развитие третьего. И опять Каштанке снится совершенно эмигрантский сон – борьба за существование и образ покровителя и защитника («мужик в шубе»), олицетворяющий её нового хозяина:

«... две большие черные собаки с ключьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: "А тебе мы не дадим! Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее...»

И, наконец, пятый сон. Но о нём – в силу его особого положения и роли – мы упомянем в конце.

* * *

Итак, начинается эмигрантская жизнь Каштанки. Как выглядит она в эти первые дни? С чего идёт отсчёт?

«- Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! - говорил незнакомец, глядя, с какой свирепой жадностью она глотала неразжёванные куски. - И какая ты тощая! Кожа да кости...»

Как верно схвачено - первая, самая простая и общепонятная радость, наслаждение насыщения. Кто из эмигрантов не помнит это – гастрономической шок после полугодового уныния советского общепита, жадность освоения новых вкусовых ощущений, знакомых в лучшем случае по книгам... (А многим знакомо и последующее – «Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды.»)

Далее – обустройство. И тут чеховская мягкая ирония удивительно точно отражает этот памятный многим эмигрантам этап изживания привычных по прошлой жизни мерок:

«... она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше - у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками.»

Вместо стружек под верстаком (т.е. производственных отходов, изначально не предназначенных для спанья) Каштанка получает человеческое – и буквально, и метафорически – спальное место: матрасик. Деталь отнюдь не второстепенная: матрас как первое спальное место тоже знаком многим эмигрантам, а в этом контексте он ещё и близок к дивану, где спит хозяин, – иными словами, месту более высокого ранга. «Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза». Заметим – «разлеглась», эдак по-барски – ведь на стружках можно в лучшем случае свернуться калачиком.

Но матрасик вместо стружек – только начало; за переменах внешними, материальными (еда, обустройство) следуют перемены более высокого порядка. И первая, весьма символическая, – новое имя:

«Незнакомец подумал и сказал: «Вот что... Ты будешь - Тётка... Понимаешь? Тетка!». И, повторив несколько раз слово "Тётка", он вышел.»

Как знакома эмигранту эта процедура – именование в новой стране, где даже привычное «Иван», хоть и похоже записанное латиницей, превращается в незнакомое «Айвэн», а уж превращений Иосифов в Джозефов и Яковов в Джейкобов не счесть. Фамилии начинают звучать неузнаваемо, а отчества и вовсе исчезают. По существу, новая жизнь Каштанки начинается именно с этого момента – обретения нового имени, легитимации, идентификации в новой среде, где всех животных (будь ты кот, гусь, свинья) кличут человеческим именем и даже с отчеством (Федор Тимофеич, Иван Иванович, Хавронья Ивановна). И вместо своей безличной клички, говорящей лишь о её окрасе (каштановая, т.е. тёмно-рыжая), Каштанка тоже обретает человеческое имя – Тётка.

Примечательно, что клички главной героини чётко делят повествование на три части: в прошлой жизни она – Каштанка, в новой – Тётка, и вновь становится Каштанкой в финале, возвращаясь к прежней жизни. (Примечательно также и то, что все человеческие персонажи повести имеют имена, а животные – клички; незнакомец же, спасший Каштанку, до конца остаётся почти безымянным – разве что упоминается его принадлежность «к разряду заказчиков», которых можно хватать за икры, да кто-то в цирке походя называет его явно цирковым псевдонимом «месье Жорж»; и это единственный человек в повести, заслуживающий доброго слова...)

«Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.» Да уж, к хорошему быстро привыкаешь... Каштанка не только изменилась внешне («из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса»). Начинается переоценка первых впечатлений: «В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливый болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: "rrrr"»... Успехи Каштанки в ученье бесспорны, и от первоначальной заниженной самооценки (традиционного эмигрантского синдрома) не остаётся и следа: «И Тётка так привыкла к слову "талант", что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.»

Но вдруг события приобретают трагический оборот⁵ – на гуся Ивана Ивановича наступают лошадь и дружное сообщество лишается сотоварища. Показательно, как относятся к этому все – хозяин, понятное дело, грустен, а Каштанка даже лизнула лапу коту, что совершенно необычно для собаки. Но смерть Ивана Ивановича – трагедия, открывающая для Каштанки новые возможности профессионального роста и артистической карьеры, как это часто бывает в мире людей. Сколько эмигрантских карьер начиналось именно так – оказаться в нужном месте в нужное время...

⁵ Следует отметить, что жанр рождественского рассказа был далеко не чужд Чехову – в 1883 г. он пишет «В рождественскую ночь». Но следующее его произведение в этом жанре уже приобретает драматический и даже трагический оттенок – это «Ванька» (1886 г.).

Каштанка попадает наконец-то на арену – она «мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте.» После долгого учения ей доверили Работу, и как хорошо помнит каждый эмигрант это мгновение. Казалось бы – жизнь удалась, трудности и страхи позади, впереди блестящая карьера. Но внезапно полупьяный вопль Луки Александрыча, старого её хозяина, властно выдёргивает её из нового бытия.

«Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один - детский, другой мужской, громко позвали: «Каштанка! Каштанка!» ... Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое - пухлое, краснощекое и испуганное, ударили по ее глазам, как раньше ударил яркий свет...»

И это наиболее драматический момент - превращения Каштанки в «возвращенца»:

«Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам.»

«Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком.»

Вот что интересно: увидела она не Луку Александрыча, не Федюшку – увидела *лица*, бросилась к *лицам*, шла по улице *за людьми*, причём *пахнувшими клеем и лаком* (это то, как воспринимает собака самый важный отличительный признак окружающих существ: запах). Но так можно сказать о незнакомых, а ведь Лука Александрыч и Федюшка – вроде как свои, родные... Гениально подметил Чехов: после долгой разлуки даже близкие люди выпадают из душевной настройки и для возобновления ранее привычного душевного резонанса нужно время. Впрочем, у Каштанки это занимает считанные минуты. Под уже порядком забытые lamentации Луки Александрыча («А ты, Каштанка, - недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.») она «глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.»

И завершается этот эпизод упоминанием сна. Но в отличие от первых четырёх, пятый сон – метафорический. Чехов подводит читателя к этой метафоре, тонкими и точными штрихами набрасывая картину возвращения, встречи с прошлой – столь узнаваемой – жизнью. Этот сон противопоставлен первым четырём тем, что отрезок жизни, прожитый столь необычно, представляется Каштанке именно *сном*: «Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон...». И не просто сном, а «перепутанным и тяжёлым», пробуждение от которого – избавление, облегчение. Облегчение ли? Неужели так коротка собачья память?

В юности, перечитывая эту повесть, я всякий раз досадовал на Чехова – ведь оборвал он её на самом интересном месте. Чем обернулось для Каштанки возвращение? Неужели такой неожиданный и поучительный опыт получен и пережит зря? Неужели столь очевидные ценности как работа по душе, которая ещё и неплохо кормит, уважение окружающих, комфорт, в конце концов, – хуже побоев и издевательств? Неужели нормальные условия жизни можно так легко назвать «перепутанным, тяжёлым сном»? Смогла ли впоследствии Каштанка сравнить прошлое и настоящее и появилось ли у неё хоть малейшее сожаление о бездумном эмоциональном порыве, вернувшем её в полуголодное и ущербное существование?

И владимовский верный Руслан, и булгаковский Шариков вправе сказать – «все мы вышли из чеховской "Каштанки"»...